

Дмитрий Васильевич Григорович

Антон-Горемыка



Дмитрий Григорович

Антон-Горемыка

«Public Domain»

1847

Григорович Д. В.

Антон-Горемыка / Д. В. Григорович — «Public Domain», 1847

«В самой глухой, отдаленной чаще троскинского осинника работал мужик; он держал обеими руками топор и рубил сплеча высокие кусты хвороста, глушившие в этом месте лес непроходимую засекой. Наступала пора зимняя, холодная; мужик припасал топливо. Шагах в пяти от него стояла высокая телега, припряженная к сытенькой пегой клячонке; поодаль, вправо, сквозь обнаженные сучья дерев виднелся полунагой мальчишка, карабкавшийся на вершину старой осины, увенчанную галочьими гнездами. Судя по опавшему лицу мужика, сгорбившейся спине и потухшим серым глазам, смело можно было дать ему пятьдесят или даже пятьдесят пять лет от роду; он был высок ростом, беден грудью, сухощав, с редкою бледно-желтою бородою, в которой нередко проглядывала седина, и такими же волосами. Одежда на нем соответствовала как нельзя более его наружности: все было до крайности дрябло и ветхо, от низенькой меховой шапки до коротенького овчинного полушубка, подпоясанного лыковой тесьмою. Стужа была сильная; несмотря на то, пот обильными ручьями катился по лицу мужика; работа, казалось, приходилась ему по сердцу...»

Содержание

I	5
II	9
III	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Дмитрий Григорович Антон-Горемыка

*Живи, коли можется;
Помирай, коли хочется.*

Народная пословица

I

Дядя и племянник

В самой глухой, отдаленной чаще троскинского осинника работал мужик; он держал обеими руками топор и рубил сплеча высокие кусты хвороста, глушившие в этом месте лес непроходимую засекой. Наступала пора зимняя, холодная; мужик припасал топливо. Шагах в пяти от него стояла высокая телега, припряженная к сытенькой пегой клячонке; поодаль, вправо, сквозь обнаженные сучья дерев виднелся полунагой мальчишка, карабкавшийся на вершину старой осины, увенчанную галочьими гнездами. Судя по опавшему лицу мужика, сторбившейся спине и потухшим серым глазам, смело можно было дать ему пятьдесят или даже пятьдесят пять лет от роду; он был высок ростом, беден грудью, сухощав, с редкою бледно-желтой бородою, в которой нередко проглядывала седина, и такими же волосами. Одежда на нем соответствовала как нельзя более его наружности: все было до крайности дрябло и ветхо, от низенькой меховой шапки до коротенького овчинного полушубка, подпоясанного лыковой тесьмою. Стужа была сильная; несмотря на то, пот обильными ручьями катился по лицу мужика; работа, казалось, приходилась ему по сердцу.

Кругом в лесу царствовала тишина мертвая; на всем лежала печать глубокой, суровой осени: листья с дерев попадали и влажными грудями устилали застывавшую землю; всюду чернелись голые стволы дерев, местами выглядывали из-за них красноватые кусты вербы и жимолости. В стороне яма с стоячею водою покрывалась изумрудною плесенью: по ней уже не скользил водяной паук, не отдавалось кваканья зеленой лягушки; торчали одни лишь мшистые сучья, облепленные слизистой тиной, и гнилой, недавно свалившийся ствол березы, перепутанный поблекшим лопушником и длинными косматыми травами. Вдалеке ни птичьего голоска, ни песни возвращающегося с пашни батрака, ни блеяния пасущегося на пару стада; кроме однообразного стука топора нашего мужичка ничто не возмущало спокойствия печального леса.

...Время от времени за лесом подымался пронзительный вой ветра; он рвался с каким-то свирепым отчаянием по замирающим полям, гудел в глубоких колеях проселка, подымал целые тучи листьев и сучьев, носил и крутил их в воздухе вместе с попадавшимися навстречу галками и, взметнувшись наконец яростным, шипящим вихрем, ударял в тощую грудь осинника... И мужик прерывал тогда работу. Он опускал топор и обращался к мальчику, сидевшему на осине:

– Эй, Ванюшка! ишь куда забрался! того и гляди ветром снесет, ступай наземь!..

– Не замай, дядя Антон, – откликнулся парнишка, – небось, не снесет!

Дядя Антон, успокоенный каждый раз таким увещанием, брал топор, нахлобучивал поглубже на глаза шапку и снова принимался за работу. Так повторялось неоднократно, пока наконец воз не наполнился доверху хворостом. Внимание мужика исключительно обратилось тогда к племяннику; его упорное неповиновение как бы впервые пришло ему в голову, и он не на шутку рассердился.

– Ах ты, баловень! – закричал он, стучая обухом топора в осину. – Долго ли говорить тебе? Слезай! Вот я те, озорника, поартачишься у меня, погоди!..

– А вот же не слезу, коли так, – отвечал мальчуган, взбираясь все выше и выше.

– Не слезешь?.. ладно же, оставайся один в лесу, пусть те едят волки... проклятого!..

Угроза, казалось, подействовала на ребенка; он обхватил ручонками коренастый ствол дерева, приготавливаясь спуститься наземь при первой попытке дяди исполнить обещание.

– А бить станешь? – вымолвил он, наклонив из-за ветки кудрявую свою головку и глядя пристально на дядю.

– Ну, ну, слезай, знай слезай...

– Взаправду не станешь?..

– Говорят, не стану, ступай скорей!

Ванюшка спустился сажени на две и опять повис на сучке.

– И на лошадь, дядя Антон, посадишь?

– Ладно, ладно, ступай только.

– Не обманешь?

– Экой пострел, прости господи! Говорю, посажу – чего еще?

Последнее обстоятельство окончательно успокоило парнишку; с быстротою и ловкостью белки проскользнул он между верхними сучьями и в одно мгновение ока очутился на земле подле дяди.

Вскоре воз, навьюченный красноватым и сизым хворостом, медленно выезжал из лесу, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, как бы изловчаясь сбросить с себя при первом косогоре лишнюю тяжесть. Ванюшка сидел верхом на пегашке; он был вполне счастлив. Русые его кудряшки, развеваясь по ветру, открывали поминутно круглое, свежее личико, сияющее восторгом. Антон шел подле, запустив одну руку за пазуху, другой упираясь в оглоблю. Проколесивши добрый час по глинистым кочковатым полям, стлавшимся за лесом, путники наши выехали наконец на проселок и немного погодя услышали отдаленный шум мельницы. Воз приближался к троскинской лощине. Незаметная издалика и терявшаяся в волнистых линиях местности, лощина эта принимала вблизи довольно широкие размеры: на дне ее, поросшем конятникком и ветельником, заваленном плитняком и громадными угловатыми камнями, шумела и пенилась река; вместо моста через нее перекидывалась узкая плотина, упировавшаяся одним концом в старую водяную мельницу. С той стороны, откуда приближалась телега, мельница освобождалась совершенно от ветл, ограждавших ее с других трех частей, так что амбары, клетки, двор, толчея, навесы виднелись как на ладони. Шлюзы были опущены: все три постава работали без устали; главное здание, обдаваемое с одного бока белою шипящею пеной, тряслось словно в лихорадке; мука, покрывавшая его кровлю, сыпалась в воду и крутилась в воздухе. Гул был страшный. Прежде чем спуститься с уступистой кручи на берег, Антон остановил лошадь и указал племяннику на мельницу.

– Поглядь-кась, Ваня, не видать ли где мельника?

– Аксентия Семеныча? – спросил ребенок.

– Экой дурень! нешто у нас, кроме него, другой какой есть...

– Нет, дядя Антон, нету... а кто-то стоит... вон в белой-то рубахе... вон, вон руками-то размахивает!..

– Ладно, не будь только он; того и смотри, с ярманки вернется, встренется да денег станет просить, беда! Ох-хо, хо! Ну, Ванюха, трогай, да смотри, не больно круто спущай!..

Миновав благополучно шаткую плотину, пегашка взнесла воз на противоположный берег, поднялась на косогор и приостановилась; она вздохнула свободнее и замотала хвостом, что делала обыкновенно, когда была довольна. Дорога опять пошла ровная и гладкая. Когда соломенная кровля мельницы с осенявшими ее скворечницею и ветлами скрылась за горою, перед глазами наших мужичков снова открылась необозримая гладь полей, местами окутан-

ная длинными полосами тумана, местами сливающаяся с осенним облачным небом, и снова ни былинки, ни живого голоса, одна мертвая дорога потянулась перед ними. Наконец вправо начал показываться господский дом, ближе – и вот он весь выглянул словно из земли. Все в нем обозначало не только отсутствие хозяина, но даже давнее запустение; ставни заколочены наглухо: некоторые из них, сорванные ветром, качались на одной петле или валялись подле треснувшего и обвалившегося основания; краска на кровле, смытая кое-где дождем, обнаруживала гниль и червоточину; стекла в покосившейся вышке почти все были выбиты; обветшавшая наружность этого здания, или, лучше сказать, этой развалины, облеплялась повсюду неровными рядами ласточьих гнезд; они виднелись в темных углах, вдоль желоба, под карнизами. Казалось, одни ласточки не покидали старого барского дома и оживляли его своим временным присутствием, когда темные купы акаций и лип, окружавшие дом, покрывались густою зеленью; в палисаднике перед балконом адели мак, пион, и сквозь глушившую их траву высовывала длинную верхушку свою стройная мальва, бог весть каким-то странным случаем сохранившаяся посреди всеобщего запустения; но теперь даже и ласточек не было; дом глядел печально и уныло из-за черных безлиственных деревьев, поблекших кустарников и травы, прибитой последними ливнями к сырой земле дорожек.

Проходя мимо, Антон не замедлил, однако, снять шапку; так прошел он вдоль старого сада, флигелей, пчельника, пока наконец не поравнялся с помещичьими ригею и овином. Тут он не только надел шапку, но даже остановился: за плотным забором возносилось такое несметное множество скирд убранного хлеба, что невольно разбегались глаза и вчуже забирала зависть. Уже несколько лет сряду стояли они таким образом неприкосновенными, непочатыми, приглашая каждого любоваться ими вдоволь. Поговаривали в околотке, будто огромным этим запасам хлеба суждено было выждать здесь благоприятной и счастливой минуты всеобщего неурожая в губернии, на что, как утверждали, были у владельца их свои особые соображения, не совсем чуждые корысти; но слухам, известно, верить нельзя: чего не выдумают! Дело в том, что чем далее глядел наш мужик на скирды, тем более потуплял голову, и, наконец, господь знает отчего, совсем загрустил. Раздумье одолело его так сильно, что он стал даже пропускать без внимания груды хвороста, валившиеся у него с воза, тогда как прежде тщательно собирал сторонние веточки, попадавшиеся на окраине дороги.

Между тем деревня все еще не показывалась. Темные тучи, сгустившиеся над нею, окутывали ее сизой непроницаемой тенью; струйки белого дыма, косвенно поднимавшиеся в сизом горизонте, давали, однако, знать о близости избышек. Прежде всего попала на пути маленькая кузница с дюжим кузнецом Вавилою на пороге, который, приветливо кивнув Антону головою, вымолвил: «Отколе?» и на ответ: «А из осинника», зевнул, перекрестив рот; там глянули высокие «магазеи», за ними крестьянские густые огороды, а там потянулось и самое село Троскино, расположенное по скату лощины. Толпа чумазых ребятишек, игравших в бабки, стояла на улице подле колодца. Они, казалось, нимало не замечали стужи и еще менее заботились о том, что барахтались, словно утки, в грязи по колени; между ними находилось несколько девчонок с грудными младенцами на руках. Семи– или восьмилетние нянюшки дули в кулаки, перескакивали с одной ножки на другую, когда уже чересчур забирал их холод, но все-таки не покидали веселого сборища; некоторые из них, свернувшись комочком под отцовским козлом, молча и неподвижно глядели на игравших.

Проезжая мимо, Ванюшка, начинавший было корчиться от стужи на своей кляче, вдруг вытянулся, приосанился и крикнул, во сколько хватило силенки:

– Эй! пошли прочь!.. Раздавлю!.. Ишь лошадь едет...

Толпа дала дорогу, окидывая седока завистливыми взглядами. Одна девчонка, рыженькая, курносая, взъерошенная и вдобавок еще хромая, пустилась догонять воз, прыгая и вертясь на одной ножке.

– Дядя Антон, дядя Антон, посади на воз! – кричала она. – Посади, голубчик, на воз... золотой, посади, право-ну, посади!..

– Пошла прочь, – вымолвил Антон, грозя хворостиной, – чего привязалась! Вот я те!..

Девчонка остановилась, дала ему проехать несколько шагов и потом снова поскакала; только теперь, как бы назло, она коверкалась и ломалась несравненно более, кричала звонче, приступала настойчивее, пока, наконец, выбившись из сил, поневоле должна была отказаться от своего преследования, но и тут не упустила случая высунуть Антону язык и поднять рубашонку.

Изба Антона стояла у самой околицы и завершала собой правую линию села, выдавшуюся в этом месте несколько вперед. Она бросалась в глаза своею ветхостью: один бок ее, примыкавший к околице, почти сгнил дотла, отчего остальная часть здания покачнулась и села на ту сторону. Кровля, от тяжести давившей ее когда-то соломы, приняла совершенно другое направление; она сползла наперед и грозила ежеминутным падением. Трубы не было; ее заменял глиняный горшок с выбитым дном для дыму. Деревянный петушок, красовавшийся, вероятно, в лучшие времена на макушке крыши, принял также свое направление во время всеобщего обвала и уныло свесился влево. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругом глиною, глядело невыразимо кисло. Изба со всех сторон подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее согбенному старику нищему, наступившему на костыли свои; словом, все на ней, как говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердце, глядя на это жилище; даже Степан Бичуга, сосед, вообще равнодушный ко всему житейскому, за исключением одной разве косушки, и тот не проходил мимо без того, чтобы не оглянуть Антонову избенку со всех сторон и не покачать заботливо лысою головою.

Несмотря на то, хозяева лачужки заметно ускоряли шаг, и лица их, по мере приближения к ней, просветлялись приветливой улыбкой. Ванюшка никак даже не мог удержаться, чтобы не крикнуть в порыве восторга несколько раз сряду: «Дядя Антон, домой приехали! Ишь, дядя Антон, ишь, дом-то, вон он!.. вон он какой!..» При въезде на двор навстречу им выбежала девочка лет шести; она хлопала в ладоши, хохотала, бегала вокруг телеги и, не зная, как бы лучше выразить свою радость, ухватила ручонками за полы Антонова полушубка и повисла на нем; мужик взял ее на руки, указал ей пальцем на воз, лукаво вытащил из середины его красный прутик вербы, подал его ребенку и, погладив его еще раз по голове, снова пустил на свободу. Девочка была в неопisanном восторге от роскошного подарка.

– Ну, Ваня, будет! Слезай-ка с лошади да ступай скорее с сестренкой в избу, на печку, – сказал дядя. – Небось оба поесть хотите?

– Дядя Антон, голубчик, золотой ты мой! Дай распрячь лошадку, я опосля поем, – кричал мальчишка.

– И то замерз совсем, куды те справиться!

– Ничаво, дядя, голубчик, ничаво, право слово ничаво... Ты, Аксюшка, ступай в избу, ишь, озябла ты... а я приду.

Не все же понукать да драться: дядя покорился; вскоре все трое взошли на крылечко, а оттуда и в избу.

II Гольш

Хозяйка Антона была не одна: против красного угла избы, почерневшего так, что едва можно было различить в нем икону, сидела гостья, старуха лет пятидесяти. Свет из единственного светлого оконца падал прямо на нее. Сморщенное, желтоватое лицо старухи, осененное космами седых волос, кой-как скомканных под клетчатый платок, ее карие глаза, смотревшие из впадин своих зорко и пронизательно, острый тоненький нос, выдавшийся подбородок, лохмотья и клюка – все это напоминало как нельзя лучше сказочную бабу-ягу или по крайней мере деревенскую колдунью-знахарку. Но в сущности ничего этого не было: старуха принадлежала просто-напросто к тем жалким побирушкам без семьи, роду и племени, которые таскаются из села в село, из деревни в деревню и кормятся мирским подаянием, или, как выражаются в простонародье, «грызут окна».

– Здорово, Архаровна, – произнес Антон, видимо недовольный присутствием гостьи.

– Здравствуй, кормилец ты мой, – отвечала, вздыхая, старуха и тотчас же наклонила голову и явила во всей своей наружности признаки величайшей немощи и скорби.

– Что те давно не видать в нашей стороне, – заметил мужик с явной иронией, – мы уж думали, ты и вовсе не пожалуешь...

– Асинька?..

– Аль оглохла, старая?

– Не слышу, кормилец...

– Что те давно не видать? – крикнул Антон.

– Пришла по хлебушко, родимый ты мой, – простонала она жалобно, – не дадут ли на старость люди добрые...

– Да что говорить, – продолжал мужик, пристально на нее глядя, – что говорить, хлебцато небось и всякому хочется... иной вот и не так чтобы больно нуждается, а глядишь, туда же канючит, словно и взаправду с голоду...

– С голоду, касатик, о-ох! с голоду, – отвечала она, принимая последнее слово как исключительно до нее относящееся. – На старости лет куды те горько, и помереть так негде...

– И-их, бабка, кажись, уж ты много больно берешь бедности на свою душу, – вымолвил с досадою хозяин, – ишь вон сказывают, будто ты даром что ходишь в оборвышках да христарадничаешь, а богаче любого из нашего брата... нагдысь орешкинские ребята говорили, у тебя, вишь, и залежные денежки водятся... правда, что ли?..

Он недоверчиво посмотрел ей в лицо.

– Ась?.. не слышу, родимый, – произнесла недвижно старуха.

– Да полно, так ли? погоди, дай-ка разуться, авось тогда услышишь.

Сказав это, Антон подошел к печке и стал раздеваться. Слова его, казалось, однако, произвели на глухую старушонку не совсем обыкновенное действие; лицо ее как бы внезапно ожило, глаза, которые держала она постоянно опущенными, быстро поднялись и окинули избу. Хозяин подошел к ней и сел на лавочку; лицо Архаровны выражало по-прежнему скорбь и уныние.

– Что ты баял, кормилец?

Антон повторил побирушке слухи, носившиеся о ней на деревне.

– И-и-и! – проговорила она, качая седую головою. – Невесть чего не скажут злые люди, на злую речь слово купится...

– А что им, прибыль, что ли, какая?.. Ишь ты сколько лет слоняешься по белу свету да окна грызешь! Куды девать деньги – вестимо, хоронишь про черный день...

– В чужой руке ломоть велик, касатик, ину пору и хлебушка нетути, не токма что денег, по миру пойдешь, тестом возьмешь... ох-хо-хо!..

– Ладно, толкуй, – отвечал, смягчаясь, Антон, – ну, да что тут, я только так к слову молвил; если и водятся деньжонки, так известно, кому до того дело... Варвара! чего нахохлилась? Собери обед, смерть есть хоцца, да, чай, и ребята проголодались.

Это обращалось к хозяйке дома, невзрачной бабенке, молчаливо сидевшей в углу на скамейке поодаль от старухи. Она не принимала до сих пор никакого участия в разговоре и только изредка поглядывала на мужа. Услыша слова его, она повернула к нему изнуренное, бледное лицо свое, вздохнула и сказала:

– Чего я тебе дам, Антонушка... ох, ничего-то у нас нету...

– Кажись, намедни лучку осталось?

– Нет, не осталось – нагдысь ребята весь поели... – И она снова вздохнула.

– Ну, давай хлеба, кваску... да полно тебе день-деньской хохлиться-то... инда тоска берет, на тебя глядя...

Варвара поднялась, сняла с полки чашку, нацедила в кувшинчик кваску, потом вынула из столового ящика остаток ржаного каравая, искалеченную солоницу, нож и молча оставила все это перед мужем. После чего она тотчас же уселась на прежнее свое место, скрестила руки и стала смотреть на него с каким-то притупленным вниманием.

– Эй, ребяташки! – крикнул Антон. – Вы и взаправду завалились на печку – ступайте сюда... а у меня тюрят-то славная какая... э! постойте-ка, вот я ее всю съем... слезайте скорее с печки... Ну, а ты, бабка, что ж, – продолжал он голосом, в котором незаметно уже было и тени досады, – аль с хозяйкой надломил хлебушка? Чего отнекиваешься, режь да ешь, коли подкладывают, бери ложку – садись, – человек из еды живет, что съешь, то и поживешь.

– Спасибо, отец родной, и то хозяйка твоя накормила, дай ей господь бог много лет здравствовать...

В это время Аксюшка подбежала к дяде, вползла к нему на колени и обняла смуглую его шею тоненькими своими ручонками.

– Эка девчонка-то у меня баловливая какая, бабушка, – вымолвил мужик, целуя ребенка. – Эка озорливая девчонка-то, – продолжал он, глядя ее по головке. – Сядь-ка ты сюда, плут-девка, сядь-ка поближе к своему дядьке-то да поешь... ну, а Ванюшка где?..

– А он, дядя Антон, на улицу ушел к ребятам.

– Ишь, пострел какой, прости господи, только и норовит, как бы ему из дому прочь; погоди, Аксюшка, дай ему вернуться, вот мы ему с тобой шею-то наkostenяем... Слышь, бабка, озорник-ат мой от дому все отбивается.

– А господь с ним, не замай его, – молвила Архаровна, – пуцай его балует, пока невеличек...

– Какой невеличек!.. Поглядела бы ты на него: парнишка куды на смысле, такой-то шустрый, резвый, все понимает, даром от земли не видать; да я ведь посмеялся, я не потачлив, что греха таить, а бить не бью... оба они дороги мне больно, бабка, даром не родные, во как, – продолжал он, лаская Аксюшку, – во! не будь их, так, кажись, и мне, и хозяйке моей скорее бы жизнь опостыла; с ними все как бы маленечко повеселее, право-ну!

– Вестимо, они теперь махочки, смыслу нет, а как подрастут, так тебе же спасибо скажут, родимый, за добро твое...

– Э! бабка, было бы им ладно, а там что останется от моей бедности, то и им достанется...

– Что ж, родимый, – спросила вдруг старуха, – брат небось весточку посылает?..

– Нет, с той самой поры, как в солдаты взяли, ни слуху ни духу; и жена и муж – словно оба сгинули; мы летось еще посылали к ним грамотку да денег полтинничек; последний отдали; ну, думали, авось что и проведаем, никакого ответу: живы ли, здоровы ли – господь их ведает. Прошлый год солдаты у нас стояли, уж мы немало понавевывались; не знаем, говорят, такого, –

что станешь делать... Ну, а ты, старуха, кажись, сказывала нам, также не ведаешь ничего про сына-то своего с того времени, как в некруты пошел...

– Нет, родимый, ничего не ведаю, – произнесла жалобно старуха и отвернулась...

Антон и жена его принялись утешать побирушку.

– Да, – начал мужик, – на старости лет, вестимо, одной-то горько: неравно помрешь, и похоронить-то некому.

– Ох, некому, кормилец, родимый ты мой, некому...

– А вот нам, коли молвить правду, не больно тошно, что брата нету: кабы да при тепе-решнем житье, так с ним не наплакаться стать; что греха таить, пути в нем не было, мужик был сплошной, неработящий, хмельным делом почал было напоследях-то заниматься; вестимо, какого уж тут ждать добра, что уж это за человек, коли да у родного брата захребетником жил, – вот разве бабу его так жаль: славная была баба, смиренная, работящая... ну да, видно, во всем бог... на то его есть воля... ох-хо-хо...

Антон прислонил ложку к закраине чашки, уперся спиной в стену и перестал есть; долго сидел он таким образом, пригорюнясь и не произнося ни слова. Только изредка ласкал он Аксюшку, которая, положив русую головку свою на грудь дяди, забавлялась медным крестиком, висевшим у него за пазухой. Мало-помалу добродушное, кроткое лицо мужика нахмурилось; вытянувшиеся черты его уже ясно показывали, что временная веселость и спокойствие исчезли в душе бедняка; в них четко проглядывало какое-то заботливое, тревожное чувство, которого, по-видимому, старался он не обнаруживать перед женою, потому что то и дело поглядывал на нее искоса. Наконец Антон облокотился на стол, взглянул еще раз на жену и сказал старухе голосом, который ясно показывал, что он приготовлялся вымолвить ей совсем другое.

– Вот, бабушка, – так начал мужик, – было времечко, живал ведь и я не хуже других: в амбаре-то, бывало, всего насторожено вволюшку; хлеб-то, бабушка, родился сам-шост да сам-сём, три коровы стояли в клетки, две лошади, – продавал почитай что кажинную зиму мало что на шестьдесят рублей одной ржицы да гороху рублей на десять, а теперь до того дошел, что радешенек, радешенек, коли сухого хлебушка поснедаешь... тем только и пробавляешься, когда вот покойник какой на селе, так позовут псалтырь почитать над ним... все гривенку-другую дадут люди...

Он оглянулся на Варвару; та сидела, закрыв лицо руками и несколько отвернувшись от него; заметив, что слезы струились между ее пальцами, Антон замялся.

– Да, – подхватил он громче прежнего, – да, бабушка, так во како дело-то – во оно дело-то какое... а ты все на свою долю плачешься, того, мол, нет, да того не хватает... а вот мы и тут с хозяйкой не унываем (он посмотрел на Варвару), не гневим господа бога... грешно! Знать, уж на то такая его воля; супротив ее не станешь...

– О-о-ох, вестимо, кормилец ты мой, бог дал, бог и взял...

– Да, не знаешь, где найдешь, где потеряешь, – сказал мужик, стараясь принять веселый вид, – день дню розь; пивал пьяно да ел сладко, а теперь возьмешь вот так-то хлебушка, подольешь кваску – ничаво, думаешь, посоля схлебается! По ком беда не ходила!.. Эх! Варвара, полно тебе, право; ну что ты себя понапрасну убиваешь; говорю, полно, горю не пособишь, право-ну, не пособишь...

– Вестимо, касатка, – отозвалась старуха, – веку только убавишь себе... ох, что ваша бедность! У вас хошь вот поплакать-то есть где... а вот у меня, горькой сироты, так и поплакать-то негде...

– Ну, в том не больно велика утеха; что вой, что не вой – все одно – живи, коли можется, помирай, коли хочется... Э, старушка, горько жить на белом свете нашему брату!..

– О-о-ох, горько, родимый, так-то горько, что и сказать мудрено...

Варвара быстро приподнялась и вышла из избы.

– Вот, – сказал Антон, посмотрев на дверь, – она-то, бабушка, крушит меня добре слезами-те своими; вишь, баба плошная, квелая... долго ли до греха!.. Теперь, без нее, скажу тебе по душе... по душе скажу... куды!.. пропали мы с нею и с ребятенками, совсем пропали!.. Вот ведь и хлебушко, что ешь, и тот – сказать горько – у Стегней-соседа вымолил! Спасибо еще, что помог... ох... а такое ли было житье-то мое...

– Сказывают, – заметила Архаровна, по-видимому, не принимавшая до сих пор никакого почти участия в том, что говорил Антон, – сказывают, Стегней-то богат добре!..

– Богат-то он богат... да ведь иной и богатый хуже нашего брата голыша...

– Мне, кормилец, Савельевна говорила, что у него три лошади... да и медку, вишь, сказывают, продавал по осень... и денег-то, чай, много...

– Ну, господь с ним, – отвечал откровенно Антон, – я тебе про свое горе говорю... эх, доля моя, доля!.. Вот, почитай, пятый год так бьюсь, и что ни день, то плоше да плоше...

– Все небось управляющий, касатик, не жалует?

– Не жалует?.. Ох! Это бы еще ништо; кого он жалует? Живут же люди... нет, он, злодей, мне напался, весь мой век заедает! С бела света долой гонит! – А что наше дело, вестимо, какое, терпишь да терпишь; мы ведь на то и родились, бабушка!.. Да!.. Вот хоть теперь – пришло время подушные платить, где я их возьму? Отколе? Он же разорил меня да пустил по миру, а страшает теперь: в солдаты, говорит, да на поселенье сошлю, не погляжу, говорит, что у те жена есть, вон он что толкует... Ох, бабка, бабка, кабы был один я, ну бы еще ништо, одна голова не бедна, а то с ними-то что станется?.. Да... прогневил, знать, я чем господа бога!..

Вошла Варвара – муж замолчал. Почти в то же время в воротах послышался стук. Антон подошел к светлому оконцу, выходявшему на двор, и крикнул:

– Кто там?

Отклика не было.

– Кто там? – повторил мужик, подняв окно.

– Это я, дядя Антон, – отозвался тоненький серебристый голосок в сенях, и в избу вбежала девочка лет двенадцати.

На бледном, чрезвычайно продолговатом личике этого ребенка и вообще во всей его наружности было что-то такое, что невольно обращало на себя внимание; этот тоненький нос с легким, едва приметным погибом на середине, узенькие губы, приятно загнутые по углам, чистый, правильный очерк головы, нежные черты прозрачного личика и тоненькие тщедушные члены отличали его сразу от известного уже типа коренастых, грубо обточенных детей крестьянских. Особенно поражали в ней эти черные выразительные глаза, которым необыкновенная бледность и худоба щек придавали еще более блеску и величины. Черные волосы смоляного отлива, небрежно обстриженные когда-то в кружок, рассыпались неровными прядями вокруг ее нежной, утиной шейки. Одежда ее отличалась также от крестьянской. Она состояла из неуклюжего платья синей домотканой полосухи, прорванного на локтях, с заплатками из белой холстины, – платья, которое снизу едва прикрывало босые ноги девочки до колен; сверху от шеи до перехвата оно ниспадало угловатыми, широкими складками, обтягивало и обтирало ей грудь и плечи. Девочка остановилась посередь избы, раскрыв губы и прижимая грудь ручонками: она едва переводила дух от усталости. Между тем хозяин и хозяйка подошли к ней.

– Что ты, Фатимушка? – спросил первый с заметным смущением. – А? Не хочешь ли тюрки, на, поди...

– Нет, дядя Антон, нет, Никита Федорыч прислал, – отвечал скороговоркою ребенок, приправляя каждое слово быстрыми, живыми движениями рук, – приказал кликнуть тебя – ступай скорей – сам наказывал...

И она откинула назад голову, чтобы поправить волосы, которые заслонили ей лицо.

Варвара присела на скамейку и зарыдала на всю избу. У Антона захолонуло в сердце.

– Ну! – вскричал он, отчаянно ударяя себя кулаками об полы. – Пришла беда, отворяй ворота! Верно, опять за подушными! Полно тебе, Варвара, душу мне только мутишь слезами-те... Эко дело... эко дело... как тут быть!..

Смушение бедного мужика было так велико, что он несколько времени ходил как угорелый по избе, заглядывал без всякой нужды во все углы, поправлял то крышку кадки, то солоницу, то кочергу и, наконец, вышел из дому, позабыв даже накинуть на плечи полушубок. Вой Варвары сопровождал его до самой улицы. Вступив на барский двор, где находился старый флигель, помещавший контору и квартиру управляющего, Антон увидел Никиту Федорыча, который уже ожидал его на пороге. Приближаясь к крыльцу, мужик почувствовал, что колени его тряслись и дыхание спиралось у него в горле: озноб прошибал его до костей. Опустив голову, подошел он медленным, робким шагом к управляющему. Это был человек средних лет, то есть от сорока до пятидесяти, средней полноты и среднего роста; шарообразная голова его, покрытая белокурыми волосами с проседью, обстриженными ниже, чем под гребенку, прикреплялась почти непосредственно к плечам, что делало Никиту Федорыча издали весьма похожим на бульдога. К этому сходству немало также способствовали густые черные брови, серые глаза навывкате, широкие калмыцкие скулы, пышный трехъярусный подбородок и коротенькие ноги наподобие обруча, или, как говорится, «кибитки». Несмотря на все эти мелочные недостатки, которые между прочим не представляли в общем ничего особенно отвратительного, фигура управляющего нимало не теряла важности и той спокойной гордости, сияющей всегда в чертах человека, сознающего в себе чувство собственного достоинства. Фигура его имела, напротив того, какую-то приятную соразмерность, стройность даже, и была чрезвычайно характерна. Но если всмотреться хорошенько, нельзя было не прочесть в этих серых бойких глазах, в этой толстой круглой голове, важно закинутой назад, в этих толстых раздувшихся губах что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца-камердинера, или дворецкого, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцев богатой избалованной дворни или аристократической передней. В настоящую минуту на нем был серый нанковый однобортный архалук, подбитый мерлушками и застегнутый доверху, пестрая шерстяная ермолка и синие, непомерно широкие шаровары. Из верхней петли архалука висела толстая золотая цепочка с ключиком для часов. Он стоял в дверях, растопырив ноги, запустив одну руку в карман шаровар, другою поддерживал длинный чубук, из которого, казалось, высасывал вместе с дымом все более и более чувство собственного достоинства.

– Что ж ты, шутить, что ли, думаешь? – сказал он Антону. – Все внесли подушны, ты один ухом не ведешь, каналья! А? Говорил я тебе, а? Сказывай, говорил или не говорил – худо будет?..

И управляющий закинул еще выше голову.

– Сказывали, Никита Федорыч...

– Ну!

– Докладывал вашей милости, – отвечал мужик, потупляя голову, – как будет угодно... у меня подушных нет... взять неоткуда... извольте делать со мною что угодно: на то есть власть ваша... напишите барину, пушай наказать прикажет, а мне взять, как перед богом, неоткуда...

– Ах ты плут, бестия этакая... из-за тебя стану я беспокоить барина... вас только секи, да подушных не бери... ну, да что тут толковать... не миру платить за тебя... знаю я вас, мошенников... Лошадь жива?..

Антон обомлел; дрожь пробежала по всем его членам; он быстро взглянул на Никиту Федорыча и произнес дрожащим голосом:

– Никита Федорыч! Никак уж ты и совсем погубить меня хочешь?..

– Что?

– Никита Федорыч! Батюшка! – продолжал мужик. – Пожалей хоть ребяенок-то махоньких... и то, почитай, пустил ты нас по миру...

– А вот потолкуй-ка еще у меня, потолкуй, – перебил управляющий, делая движение вперед, – я тебя погублю! Завтра же веди лошадь в город на ярманку, теперь пора зимняя, лошади не надо, – произнес он лукаво, – да смотри, не будет у меня через два дня подушных в конторе, так я не погляжу, что ты женат, – лоб забрею; я и так миловал тебя, мерзавца!..

– Никита Федорыч, а Никита Федорыч, – сказал Антон, едва удерживаясь от слез, – батюшка!..

И он повалился в ноги.

– Э! Меня этим не разжалобишь, пошел! Чтоб было, как приказываю, вот и все! Ступай! – прибавил он, топнув ногой.

– Что ж у меня-то останется, – говорил отчаянно мужик, – как последнюю-то лошаденку продам?.. И так по миру, почитай...

– Ну, ну, ну... разговаривай, разговаривай... кабы не ярманка, так я бы не так еще с тобой разделался...

В это время дверь из квартиры управляющего растворилась; из нее выглянуло вполтину желтое женское лицо, перевязанное белою косынкой.

– Никита Федорыч, а Никита Федорыч! – крикнула женщина пискливо. – Ступай чай пить; что тебя не дожدهшься, ступай скорее...

Управляющий повернулся в ту сторону и, не дожидаясь дальнейших возражений мужика, поспешил к самовару.

Домогаться милости Никиты Федорыча было делом совершенно лишним; по крайней мере в этом нимало не сомневались троскинские крестьяне; Антон знал это еще лучше других. Медленно покинул он двор и вышел на улицу. Сумерки, или «сутисочки», как называют их в деревне, начинали уже ложиться на землю; бледные дымчатые полосы тумана там и сям окутывали поля и распускались по окрестности; в воздухе заметно похолодело. Антон, сам не зная почему, не пошел по улице, а, обогнув ближние за флигелем избы и крестьянские огороды, поплелся задами...

Приближаясь к крайним амбарам села, то есть тем, которые стояли уже подле околицы, Антон увидел совершенно неожиданно в нескольких шагах от себя клетчатый платок, висевший на кусте репейника. Это обстоятельство и, вдобавок, измятые и сломанные стволы растений, показывавшие, что на том самом месте кто-то своротил с дороги в рощу, чрезвычайно удивило его. Он невольно забыл на минуту свое горе; поосмотревшись кругом, пошел он к кустам, снял платок и начал пристально рассматривать. Не доискавшись, разумеется, ничего, Антон бережно свернул его, сунул за пазуху и пошел далее. Но не успел он сделать двух шагов, как увидел бегущих навстречу соседей, Степана Бичугу и старшего сына его, Пантелея. Оба казались сильно встревоженными; они бежали сломя голову по дороге, без шапки, без полущубка и сильно размахивая в воздухе руками. Поравнявшись с Антоном, они остановились.

– Сват! – сказал ему торопливо Степан. – Не встрел ли кого на дороге?.. А?..

– Нет... сват... никого... – отвечал Антон.

– Эко дело... и никого не видал?

– Никого...

– Эко дело! Что за черт! – вскричал Степан. – Бабы, вишь, лен мяли... слышат, как словно кто шевелится в клетки... они глядь... ан человек сидит... да как пырснет вон... э! ты дьявол! Что за притча... Они кричат... хвать... ан трех кур как не бывало!.. они к нам... мы с Петрухой бегом... нагонять! Бегали, бегали, никого... что за леший... Ты, сват, никого не встрел?..

– Никого, – отвечал удивленный Антон, – хоть бы живого человека встрел... а вот кусты... больно вымяты...

Мужички покинули соседа и снова пустились в погоню по дороге...

Такое обстоятельство не могло не привлечь внимания Антона; в Троскине, и особенно с некоторых пор, только и слуху было, что о разных проказах: то уводили лошадей, то подползали в клетки и каморы, выбирали деньжонки, холсты и всякое домашнее снадобье. Поговаривали даже, будто в соседнем селе Орешкове мужик Дормидон, идучи по лесу, наткнулся на двух бродяг, которые наказывали ему передать их старосте, чтоб берег лошадей, не то уведут, и что, несмотря на все принятые предосторожности, лошадей все-таки увели в первую ночную сторожку. Все это разом прихлынуло в голову Антона; он невольно забыл на мгновение свое горе. Сумерки уже совсем омрачили небо, когда он вступил к себе в избу. Тут все уже давным-давно успокоилось. Варвара, свесив голову на стол и обняв обеими руками остаток каравая, спала крепко-накрепко; свет от догоравшей лучины отражался лишь в углу на иконе; остальная часть избы исчезла в темноте; где-где блистала кочерга или другая домашняя утварь; с печки слышалось едва внятное легкое храпенье обоих ребятишек. Антон поправил лучину, оглянул кругом стены и сел подле жены на лавочку. Движение это мгновенно пробудило Варвару.

– Ну что, Антонушка? – сказала она, отводя от лица волосы и придвигаясь проворно к мужу. – Зачем звал тебя злодей-то наш?.. Да что ж ты не баешь? – прибавила она, нетерпеливо дергая его за полу.

– Что тут баять, – отрывисто отвечал муж; он тяжело вздохнул и, как бы собравшись с духом, промолвил: – Велел пегашку вести... на ярманку!.. Не надоть ее, говорит... теперь дело зимнее: проживешь без лошади... Ну, вот, сказал тебе сдуру, а ты... Эх, Варюха, Варюха! Полно тебе рюмиться-то, ведь говорю, слезами-те пуще мутишь мне душу! Эка ты, право, неразумная баба какая... нешто горю этим пособишь?.. Знать, погрешил я, право, чем перед господом богом!..

– Касатик ты мой! – говорила, рыдая, баба. – Нешто я о своем горе убиваюсь... ох, рожонной ты мой... мне на тебя смотреть-то горько... ишь заел он тебя... злодей, совсем... как погляжу я на тебя... индо сердечушко изнывает... и не тот ты стал... ох... – И тут она, опустившись на лавку, затянула нараспев: – Ох, горькая наша долюшка... и пошла-то я за тебя горькой сиротинушкой, на беду-то, на кручину лютую...

– Послушай, Варюха, а Варюха... слушай, что я тебе скажу, – твердил мужик, силясь приподнять ее, – не убивайся так-то, наше дело еще не пропащее, вот ономясь встретился мне Федотов из Выселок, сказывал... сулил, что, коли, мол, хошь, Антон, я тебя возьму в работники... пять десятков в год, вишь, дает... не убивайся, пойду в работники, отпрошусь на оброк...

– Ох, не верти меня, родимый; я все проведала: у Федотова давнешенько батрак нанялся... ох, горькая, горькая наша-то долюшка...

И баба снова повалилась на лавку, залилась пуще прежнего слезами.

– Эх я, дурень! – вскричал мужик. – Эй, Варюха, я, бишь, и забыл, вот поглядь-кось, поглядь – ишь, какую штуку поднял я на дороге... погляди... – Сказав это, он выложил на стол платок, стараясь утешить бабу. – Иду по задам, гляжу, никого нет, а он вот висит на кусте, как словно зацепился...

– Родной ты мой, да ведь это, знать, старуха обронила...

– Какая старуха?

– Да вот нищенка-то, что к нам заходила...

– Ой ли?.. Полно, так ли, Варвара?.. Не обмолвилась ли ты спросонья?

– Что ты, касатик! Я сама видела, как она, сердешная, платок-от повязывала.

– Тут, Варюха, мотри, что-то непутное, – вымолвил Антон раздумчиво, – старуха-то... Э! То-то люди сказывают, будто и в частую заставляли ее за такими делами. И как это она скоро улизнула... Нет, не пушай ты ее к нам, долго ли до греха!.. Гость и немного гостит, да много видит; ишь, я было сдуру-то разговорился с нею, а кто ее знает, может, и взаправду зло какое

замышляет... в чужой разум не влезешь... Я давно заприметил, она только и норовит, как бы выведать, что у нас в деревне делается... У кого, вишь, сколько скота, лошадок, как живет... Вот и нынче про Стегнея Борисова тоже выведывала, до всего ей дело! Э, нет, не пушай ее к нам в избу, ни за что не пушай, господи упаси!..

– Ее платок, точно ее, – заметила Варвара, утирая слезы, – вот и прореха на самой серединке.

– То-то, – отвечал мужик, заботливо качая головою, – ишь на старости лет какой грех принимает на свою душу, и бесстыжая ведь какая! Так вот и лезет, а поглядишь, словно и взаправду нищенка... Недаром говорят; у ней деньга-то водится, да... о-ох!..

Антон помолился перед иконою, разулся и, вздохнув несколько раз сряду, полез к ребятишкам на печку. Варвара затушила лучину и последовала за мужем. Вскоре все затихло в избе. Неизвестно, однако, скоро ли заснул бедный ее хозяин; быть может, он даже вовсе не смыкал глаз...

Верно только то, что не спал сверчок; унылая песня его потянулась мерно и тихо, потом стала чаще, звончее, наконец мало-помалу заглушила храпенье ребятишек и наполнила собою избушку.

III

Дорога

В избушке царствовал еще глубокий, непроницаемый мрак, когда Антон приподнял потихоньку голову и начал прислушиваться... Убедившись, что жена и ребята крепко-накрепко спали, он осторожно, чуть дыша, спустился с печи и стал приготовляться в дорогу. Отыскать ощупью полушубок и шапку, намотать наскоро в потемках онучи, отрезать краюху хлеба, завернуть ее в тряпицу и засунуть за пазуху – мужику дело привычное. Он перекрестился наобум перед углом, где стояла икона, и выбрался на крыльцо. Заря еще не занималась; на дворе только что проглядывали первые повиднушки. Антон припер как можно плотнее дверь из крылечка в избу.

– Ну, тепер спите вволю, – вымолвил он, – господь с вами, спите... Слезами-те только душу мутите, а мне и без них куда тошно...

Он вошел в клеть, где стояла пегашка. Почувяв хозяина, она тотчас же повернула к нему кудластую свою голову, насторожила уши и замотала хвостом.

– Ну, пегашка, полно, полно те хвостом-то вилять, – произнес мужичок не совсем твердым голосом, – небось из дому-то не хочешь? Ступай-ка, ступай, не кобенься; супротив воли и люди идут, не токмо что ты... Ступай; знать, и тебе пришла пора делить хозяйское горе...

Антон взнуздal ее и вывел на двор. Бедная кляча словно предугадывала свою участь: всегда смиренная и покорная, она в этот раз фыркала, упорно мотала головою и беспрестанно озиралась на стороны, как бы прощаясь навсегда с двором и клетью, посреди которых выросла и вскормилась. Антон также глядел на дряблую избушку свою; бог весть о чем он думал: чужая голова – темный лес. Наконец махнул он рукой, взял лошадь под уздцы и вышел на улицу. Он сел на лошадь. Но пегашка никак не хотела идти к околице, куда направлял ее Антон; несмотря на все усилия его, она пустилась сначала вскачь к колодцу, потом дала круг по всей улице и все-таки остановилась у избушки. Видя, что сила не берет, хозяин принужден был слезть наземь, снова взять ее под уздцы и вывести за околицу. Ворота заскрипели и затворились. Темнота уже заметно рассеялась; но не ясный, ведренный день обещало утро; там, с востока, не багрянилось небо, не ложились алые, золотистые полосы света, предвестницы теплого солнышка; небо было серо, пасмурно; сизые тучи облегали его отовсюду, суля ненастье и сиверку.

Дорога от околицы шла в гору; по мере того как Антон подымался, местность, окружавшая деревню, постепенно ограждалась возвышенностями и принимала вид лощины. Там, словно из земли, выступали поминутно – то крестьянский овин с пригнувшеюся к нему рябиною, то новый дощатый забор, то часть барского сада, о существовании которых нельзя было и подозревать с улицы. Мало-помалу показалась речка с угловатыми своими загибами, потом ветлы и кровля мельницы, еще выше – потянулись поля с знакомым осинником, потом снова все это попряталось одно за другим; вот уже исчезли мельница, господский дом, село, а вот и избушка Антона начала уходить за горою... Хозяин ее еще раз обернулся в ту сторону, прищурился, протер глаза и вдруг хлестнул пегашку и пустился рысцою по дороге. Миновав троскинские земли, Антон притянул поводья и поехал шагом. Гора уже давным-давно закрыла собою дорогу села; во все стороны на необозримый кругозор открывались черные поля, смоченные дождями; редко-редко мелькала вдалеке полоса соснового леса или деревушка; дорога то и дело перемежалась проселками.

Антон давно уже не ездal в город. Никита Федорыч не любил отпускать часто мужиков из деревни; особенно строго держался он этого правила с теми из них, с которыми находился в неприязненных отношениях. По его мнению, не отпустить мужика в город считалось хорошою и вместе с тем очень действительной мерой наказания. Так, например, накоплялось ли гороху

у мужичка – где бы свезти его на базар, благо цена красна, ан нет: как ни бьется сердечный, Никита Федорыч ни за что не отпустит; подумает крестьянин: плетью обуха не перешибешь, да и продаст горох соседу за сущий бесценнок – не лежать же стать житу да гнить в закроме. Другому господь бог залишнюю телушку послал; вот и бредет он к управляющему: «Деньги, мол, понадобились, батюшка, соблаговолите отпустить в город кой-что продать; надо, вишь, обзавестись тем да другим по хозяйству». – «Ах ты, такой-сякой, – молвит ему управляющий, – небось, как соты-то ломал прошлую осень, так не принес мне медку? Сиди-ка дома; все бы вам только шляться...» Что, – думает проситель, – господ наших нетути, а он у нас сила, не стать перечить, зарежет телку, да и поснедает ее с божьей помощью. Так же точно было и с Антоном, если еще не хуже.

Но теперь дело в том, что на шестнадцатой или семнадцатой версте наш мужик решительно стал в тупик; очнувшись внезапно от раздумья, которое овладело им с того самого времени, как покинул он Троскино, Антон никак не мог припомнить ни места, где находился, ни даже сколько верст оставалось приблизительно до города. Он только и помнил, что проехал Киясавку и Выселки да свернул влево от Екиматовской слободы. На пегашку же положиться не было никакой возможности; Антон знал, что, будучи лошадью незаметною, то есть лишенною способности припоминать дорогу, она могла очень легко завезти его бог весть куда. Он задумывал было свернуть в сторону, к видневшейся влево за перелеском деревишке, когда один совершенно неожиданный случай навел его снова на путь истинный. Оглядывая местность, он увидел на распутье полуразвалившийся деревянный крест, водруженный в небольшой бугорок.

– Эхва, у меня из памяти-то вышла могилка дяди Андрея! – воскликнул он, снимая шляпу и крестясь набожно. – Дорога-то вот тут же и сворачивает в город... на Закуряево... Эх, совсем запамятовал, чуть было с пути не сбился!

Дорогою Антон невольно принялся припоминать происшествие, связывавшееся с дядею Андреем.

Года три тому назад на этом самом распутье стояла мазанка, принадлежавшая монастырскому сборщику, одинокому старичку. Редкий из окрестных жителей не знал его; бывало, кто бы ни плелся, кто бы ни ехал в город, мужик ли, баба ли, седой старичишка тут как тут, стоит на пороге да потряхивает своей книжонкой, к которой привязан колокольчик. И редкий говорил ему: «Бог подаст!», редкий не отдавал ему копеечку на построение господнего храма. Все попривыкли к нему с самого детства. И вдруг не стало дяди Андрея, как словно никогда его здесь и не бывало. Толковали, толковали мужички окрестные и наконец вот что узнали. Однажды в самую глухую зимнюю полночь входят к Андрею два незнакомые человека, скручивают его по рукам и по ногам и требуют денег. Долго допытывались они, – стоит на одном старик: три гроша всего, вишь, у него, остальные вечер в монастырь отослал, а больше, видит бог, нетути! Они пуще пытать. Уж он им молился, молился, нет! уходили-таки старика обухом и сами принялись искать. Как перешарили все до ниточки, тут только и спохватились, что даром потеряли человека: в тряпице за печью всего-на-все было три гроша. Наехали со всех сторон земские да понятые, закопали дядю Андрея на самом распутье, мазанку снесли на другую дорогу, ибо никто не соглашался поселиться в ней, а на ее месте воздвигли крестик, тот самый, что так часто напоминал мужичкам дорогу в город.

Антон не успел еще перебрать в голове все подробности этого происшествия, наделавшего в свое время много шуму в околотке, как увидел вдалеке телегу, которая медленно приближалась к нему навстречу. Сначала показалось ему, будто в ней никого не было, но потом, когда она поравнялась, он разглядел на дне ее мужика, лежавшего врястяжку. Антон несказанно обрадовался.

– Эй! Послушай, брат, – крикнул он, – а, примерно, далеко ли отсель до столбовой дороги?

Тот, к кому обращался вопрос, лениво и как бы нехотя приподнял голову, подперся локтем, поглядел пристально на Антона, зевнул протяжно и, не отвечая ни слова, улегся в телегу.

– Эй, сват, эй! – крикнул Антон. – Что ж ты? Эй, далече ли до столбовой?..

Мужик снова приподнял голову, поглядел на Антона, опять зевнул и, опять не ответив ни слова, опустил на дно своей телеги; только на этот раз он хлестнул лошадь, которая мигом унесла его из виду.

Антон опять остался один-одинешенек посреди полей: пегашка плетется дробным шажком, а он то и дело посматривает вправо да влево, то прищурится, то раскроет глаза, принимая каждый пень, каждую кочку за живого человека. И вот снова чудится ему, что кто-то едет навстречу. Глядит, и впрямь несется тележка; вороная лошадь в наборной шлее с медными бляхами, на облучке подскакивает не то мещанин, не то помещик, а только не мужик: на нем картуз и синий кафтан. На этот раз, однако, встреча, казалось, не порадовала нашего мужичка; он круто осадил пегашку, смутился, сделал даже движение, ясно выразившее намерение кинуться в сторону, но тотчас же остановился; было поздно – Антон узнал в синем кафтане троскинского мельника, которого так усердно избегал несколько месяцев сряду. Мельник остановился; Антон слез с лошади.

– Здравствуй, Аксентий Семеныч! – произнес он, переминая в руках шапку.

– Здорово, брат, куда?

– В город, Аксентий Семеныч, лошадь продавать... подушных платить нечем; такая-то беда стала со мною...

– Ну, а мне-то когда заплатишь? Я, кажись, и то немало ждал...

Антон замялся.

– То-то, брат, – продолжал мельник, переменив тон, – ведь так промеж добрых людей делать не приходится; летом еще осталось получить с тебя за помол, а ты с той поры и глаз не кажешь: сулил отдать ко Второму Спасу, а я хоть бы грош от тебя видел... так делать не показано вашему брату... на то есть правота: как раз пойду в контору... я давно заприметил, ты от меня отлыниваешь...

– А что мне от тебя отлынивать... нешто я коли отлынивал...

– Видно, так.

– Ину пору и рад бы отдал, да коли нечем; сам ведаешь, отколе скоро-то взять нашему брату хрестьянину... был нынче недород, с корки на корку почитай что весь год перемогались... Аксентий Семеныч... тут вот подушные еще платить надо...

– Про то не мое дело ведать... вам подушные платить, а мне небось по миру идтить... делай, как быть следно, знай честь, счетом взял, счетом и отдавай; что тут баить...

– Что ты опасаешься?.. – сказал Антон, смягчая по возможности голос. – Разве я отнекиваюсь от долга, говорю, отдам, обожди маненько, твое дело не пропащее, право, скажу спасибо...

– На какой мне леший твое спасибо? Из него шубы-то не сошьешь...

– Кажись, Аксентий Семеныч, мне не впервые с тобою ведаться.

– Точно не впервые, что говорить; зачем же молоть-то на чужой мельнице? Ась?

– На Емельяновке-то?

– А хоть бы и на Емельяновке...

– Сходнее, Аксентий Семеныч...

– Как сходнее?.. За восемнадцать-то верст сходнее?..

– Оно, что баить, далече, да на Емельяновке-то за помол берут с нас хлебом, а ты, вишь, требуешь деньгами... да еще пятак с воза набавил... сам порассуди, откуда их взять... наше дело знамо какое...

– Ладно, ладно... ну, а зачем же подзадоривал Федосея да Ивана Галку ездить на Емельяновку?..

- Да когда я их подзадоривал?.. Что ты?..
- А то кто же? Ты первый из троскинских поехал...
- Знать, сами проведали...
- Сами проведали! То-то, шишковато больно говоришь; ты говори, да не ври, не вечер я родился, – что, думаешь, не знаю!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.